



**Н. К.
МИХАЙЛОВСКИЙ**



Николай Константинович Михайловский

Литературные воспоминания

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2450595

Н. К. Михайловский. Сочинения: М.; 2011

Аннотация

Первые две главы книги.

Вступление. – Мой первый литературный опыт. – «Рассвет». – «Книжный вестник». – Братья Курочкины, Ножин, Благодетель, Писарев, Демерт, Минаев.

«Гласный суд», «Современное обозрение», «Отечественные записки». – Некрасов. – Роман «Борьба» и статья «Что такое прогресс?» – Салтыков, Елисеев, Успенский. – Некрасов как человек.

Содержание

I	4
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Николай Константинович Михайловский

Литературные воспоминания

I

Вступление. – Мой первый литературный опыт. – «Рассвет». – «Книжный вестник». – Братья Курочкины, Ножин, Благодетель, Писарев, Демерт, Минаев.

Смерть Елисеева не идет у меня из головы^{1}. Ничего в ней нет удивительного или необычайного: Елисееву было семьдесят лет, а это возраст вообще значительный, а для русского писателя и подавно. В нынешнем году вышли «Критические опыты» Валериана Майкова^{2}, на которого возлагались когда-то большие надежды, в котором многие видели преемника Белинского. Я не думаю, чтобы эти надежды могли быть осуществлены Майковым вполне, но это был, во всяком случае, очень даровитый и трудолюбивый юноша, который, однако, так юношей и умер. Он умер в 1847 году, двадцати трех лет, проработав на литературном поприще меньше полутора года. Начиная с Лермонтова, продолжая Добролюбовым, Писаревым, кончая Гаршиным, Надсоном, мы уже как-то привыкли к ранним смертям даровитых литературных деятелей. Что же может быть поразительного в смерти больного семидесятилетнего старика, давно и спокойно готовившегося к неизбежному концу? И все-таки эта смерть неустанно гвоздит мой мозг, будя в нем целый рой воспоминаний. Может быть, тут виновато то обстоятельство, что я теперь занимаюсь разборкой бумаг Елисеева^{3}, в которых значительное место занимают литературные воспоминания; может быть, особенности моих личных отношений к покойному играют тут роль; может быть, наконец, и без того пришла пора оглянуться на прошлое, и смерть Елисеева была только окончательным толчком в этом направлении. Как бы то ни было, но и Елисеев, и все «Отечественные записки», и все, что предшествовало в моей жизни «Отечественным запискам», – все это просится на бумагу. И я не вижу причины держать себя в этом отношении на привязи. Мне кажется даже, что в настоящее время особенно полезно вспомнить и напомнить кое-что из прошлого. За тридцать лет исключительного и постоянного пребывания в литературной среде я ее узнал вдоль и поперек в ее достоинствах, как и в ее слабостях, в ее вершинах, составляющих гордость России, и в ее низменностях, в счастье и в несчастье. Всего этого рассказать теперь нельзя по многим причинам, понятным для каждого читателя, но то, что можно, постараюсь рассказать правдиво.

Ручаюсь за правдивость, но не ручаюсь за последовательность и аккуратность. Оставляя за собою право (которое может при случае обратиться даже в обязанность) оборвать воспоминания на любом моменте, потому ли, что он мне покажется щекотливым, или просто потому, что надоест вспоминать, я заранее выговариваю себе и другое право. Едва ли я в состоянии буду ограничиться буквально воспоминаниями. Читатель должен заранее примириться с разными возможными перерывами и отступлениями в сторону текущей минуты или каких-нибудь теоретических соображений. У всякого писателя есть своя физиономия, которую поздно, да и нет надобности переделывать, когда доходишь до воспоминаний.

Для меня лично «литературные воспоминания» – плеоназм. Иных воспоминаний, кроме литературных, я бы и не мог предложить читателям, потому что вся моя жизнь протекла в литературе. Конечно, и у меня, как у всякого, были внелитературные связи и отношения, но я не полагаю их интересными для читателей. Говоря, что жизнь моя вся протекла в литературе, я понимаю жизнь профессиональную, жизнь труда. Я никогда не служил ни

на государственной, ни на частной службе, никогда не носил мундира, кроме школьного, никогда не занимался торговлею, хозяйственными делами и т. п.; я даже почти никогда не занимался педагогическою деятельностью, которая в форме давания частных уроков, можно сказать, обязательна для бедных молодых людей, приезжающих в столицы учиться или пробивать себе жизненный путь. Говорю «почти», потому что однажды в трудные времена давал уроки русского языка взрослому немцу и с тех пор закаялся. Начав писать на школьной скамье, я затем уже не переставал быть литератором и только литератором, за исключением, помнится, двух лет, когда, еще не оперившись в литературном смысле, снискивал себе пропитание чтением корректур. Значит, и тут был все-таки около литературы.

Да не подумает читатель, что я вижу в этом какую-нибудь заслугу или особенное достоинство. Я просто предъявляю факт, имеющий свои очень дурные стороны, между прочим, ту обидную практическую беспомощность, которою почти всегда отличаются люди, с молодых лет исключительно отдавшиеся литературе. Бывают, правда, редкие исключения, как, например, Некрасов, но это именно исключения. Не желаю я, однако, внушить читателю и ту мысль, что, оставаясь всю жизнь в литературе, я приносил или приношу какую-нибудь жертву. Совсем даже напротив. Много горестных волнений выпадает на долю русского писателя, в особенности журналиста, много обидных внезапностей и тяжелых разочарований; в самой жизни его много, по-видимому, фатальной нескладицы. Но если бы мне теперь надлежало начинать сначала, я все-таки выбрал бы литературу. И даже не *все-таки*, а *тем более*. «В те дни, когда мне были новы все впечатленья бытия»^[4], я пошел в литературу просто по бессознательному влечению, почти по инстинкту, хотя, конечно, роль писателя рисовалась и сознанию в неясном, но прекрасном ореоле. Теперь я знаю, чего стоит этот ореол и как тернист жизненный путь писателя. Кроме того, и влечение к литературной работе утратило свою первоначальную свежесть. Но за всем тем для меня не существует дела, которое давало бы столько наслаждения и в своем начале, при возникновении известных мыслей и чувств, зовущих к письменному столу, и в самом процессе своем и, наконец, в своем результате – в общении с читателем. Кто раз глотнул из этой чаши, того разве какие-нибудь исключительные обстоятельства могут оторвать от нее. В этом заключается, между прочим, причина многих драм, совершающихся в литературной среде. Молодой человек, случайно написавший удачную вещь, затем недурную вторую, пожалуй, третью, но уложивший в них все, что у него было за душой, лишь с большим трудом убеждается, что он попал на эту дорогу случайно, по ошибке. А ошибки тут могут выйти разные. Есть умные и знающие люди, совершенно, однако, лишенные собственно литературного таланта, дара письменного изложения; и это бывает при наличности других, очень, по-видимому, сродных талантов, например, ораторского. Но кроме таланта писателю нужна еще способность приходить в известное настроение, которое случайно может посетить каждого человека, но лишь в призванных или, пожалуй, обреченных достигает достаточной напряженности и прочности и обращается в нечто привычное. Сюда надо еще ввести игру самолюбия, которое, вообще говоря, после людей эстрады и сцены, наиболее развито у литераторов, и это лежит в самых условиях их профессии. Из всех этих обстоятельств могут выходить чрезвычайно разнообразные комбинации, способные ввести неопытного молодого человека в ошибку насчет своих сил, способностей, даже склонностей, а сладкой отравы он уже попробовал. Он заставляет себя работать, насилует себя; колеблется вверх и вниз волнами надежды и разочарования; переживает минуты страшного нервного напряжения и затем реакции; ищет выхода и забвения в разгуле, столь вообще свойственном русскому человеку; ищет и, разумеется, находит завистников, врагов, хотя в действительности их, может быть, и в помине нет; становится, наконец, сам завистником и врагом, – врагом подчас не Ивана или Петра, а целого направления, которого прежде держался и которое теперь виновато тем, что не утилизирует его дарований; чувствуя нравственную низменность этого мотива, он еще пуще грызет себя.

А оторваться все-таки не может. Все это в различных сочетаниях и в различной последовательности встречается, конечно, не у нас только. В европейской литературе есть чрезвычайно яркие художественные воспроизведения этой житейской драмы. Такова, например, история Люсьена Шардона в «*Illusions perdues*»¹ Бальзака или Октава в «*Le Dieu Octave*»² Гальта. Сравнительно с нашими подобными драмами истории Люсьена и Октава осложнены тою непосредственно практической политической ролью, которую может играть европейский писатель и которая, еще обостряя жажду, обостряет в такой же мере и горечь неудовлетворения. У нас все это проще, проще, мельче по фабуле и обстановке, но в своем роде не менее мучительно для действующих лиц. В повести г. Потапенко «Святое искусство» и в недавно вышедшей повести г. Влад. Немировича-Данченко «На литературных хлебах» пределы этой русской драмы далеко не исчерпаны, но некоторые ее моменты хорошо намечены. Герои обеих повестей – молодые люди, не лишенные не то что таланта, а способности письменно излагать несложные факты и мысли; но им этого мало, они метят выше и, несмотря на все разочарования, не могут бросить перо. Само собою разумеется, что от подобных и даже гораздо более страшных драм не гарантирован и старый человек, хотя бы уже потому, что немолодой человек может оказаться в положении начинающего писателя. В январском номере журнала «Артист» напечатано начало рассказа г. Садовского «Высокое призвание». Немолодой уже учитель математики, Струев, поощряемый лестью, совершенно, впрочем, искреннею, приятелей, задумывает написать комедию. Грубоватый юмор г. Садовского слишком уже подчеркивает ожидающую несчастного неудачу и долженствующую последовать за подъемом «высокого призвания» горечь разочарования. Да и вообще это случай слишком элементарный. Гораздо глубже и страшнее драмы, часто пересекающие тернистый путь писателя бывалого, уже выдавшего виды. В упомянутой повести г. Влад. Немировича-Данченко чуть-чуть намечена подобная драма в лице Тростникова. Оскудеет нервномозговая лаборатория, где из впечатлений, чувств, мыслей создается специальное настроение, зовущее к письменному столу; ослабеет способность к работе в чисто механическом смысле; оборвется каким-нибудь посторонним, внешним обстоятельством или собственным разочарованием писателя его привычная уже связь с читателем, – и человек так несчастлив, как трудно и представить людям, не испытавшим или близко не выдавшим этого. Несчастье его тем ужаснее, что он все-таки пригвожден к кресту своего писательства, с которого ему не сойти никуда и никогда. Все это я говорю о литературных работниках или намеревающихся быть таковыми, а не о дилетантах, уделяющих часы своих досугов от иных, административных, хозяйственных и т. п. забот. Те совсем особая статья. Да и то, что сказано, сказано пока вскользь, к слову. О драмах, совершающихся в литературной среде, мне еще, вероятно, придется говорить в подробности.

Здесь прибавлю только одно. Материальное положение русского писателя чрезвычайно шатко. Г. Щеглов во втором томе своей «Истории социальных систем» говорит о больших состояниях, наживаемых у нас литературой, о каретах и лакеях¹⁵¹. Спора нет, это бывает, но большие состояния наживаются все-таки не литературой в собственном смысле слова, а издательством. Большинство же литературных работников, если они не имеют наследственного состояния, как, например, Салтыков или Тургенев, под конец жизни терпят всяческие лишения и сплошь и рядом умирают нищими с горчайшими думами о судьбе своих семей, если таковые есть. Этого не избегают даже крупнейшие таланты, по-видимому, особенно благоприятно поставленные. Достоевский лишь за несколько лет до смерти поправился, а до тех пор бился, как рыба об лед, попадая временами в унижайнейшие положения. Зайончковскую (В. Крестовский – псевдоним) не на что было похоронить. Белин-

¹ «Утраченные иллюзии» (франц.).

² «Боги Октава» (франц.).

ский писал одному знакомому: «Я ехал за границу с тяжелым и грустным убеждением, что поприще мое кончилось, что я сделал все, что дано было мне сделать, что я выписался и... стал похож на выжатый и вымоченный в чае лимон. Каково мне было так думать, можете судить сами: тут дело шло не об одном самолюбии, но и о голодной смерти с семейством»^[6]. Это ли еще не драма?!

Но, конечно, ни о каких таких драмах я не помышлял, когда весною 1860 года с трепетным сердцем и маленькою рукописью в кармане пробирался на Петербургскую сторону, в редакцию «Рассвета»^[7], «журнала для взрослых девиц», издававшегося артиллерийским офицером Кремпиным^[8]. Почему артиллерийский офицер издавал журнал для взрослых девиц и почему я, 18-19-летний кадет горного корпуса, отправился в этот журнал с своим первым литературным произведением, этого сразу не поймешь. Мне впоследствии «Рассвет» никогда не попадался под руку, но смутно помнится, что это был журнал по-своему интересный и живой, хотя просуществовал он недолго, не больше трех лет. В нем пробовали свое перо некоторые выдавшиеся впоследствии литературные силы. Там начал свою краткую, но блестящую карьеру покойный Писарев^[9]. Если не ошибаюсь, там писал и А. М. Скабичевский^[10]. Один мой товарищ по горному корпусу, некий Штильке, практический человек, ныне уже умерший, смастерил компиляцию о «кофе»^[11], снес ее Кремпину, и тот напечатал. Другой мой товарищ, К. А. Скальковский, ныне большой чиновник, всемирный путешественник и балетоман, напечатал в «Рассвете» какую-то историческую статью^[12]. Таким образом, собственно мне дорога была как бы уже проложена, а следовательно, и мой выбор «Рассвета» можно объяснить чисто механически. Но нельзя, я думаю, так просто объяснить самую тему моей первой статьи. Тогда в «Современнике» появился отрывок из романа Гончарова «Обрыв», озаглавленный «Софья Николаевна Беловодова». Этот-то отрывок и вдохновил меня на критическую заметку^[13]. Заметки этой я не помню. Помню только, что она была не подписана; помню почему-то, что Райский в ней сравнивался с гусями-самогудами^[14]; помню, наконец, одно замечание Кремпина о неловкости и ненужности употребленного мною выражения «пахотинщина» (Софья Николаевна Беловодова была, как известно, урожденная Пахотина); но осталось ли это действительно ненужное и неуклюжее слово, очевидно, навеянное «обломовщиной», или его Кремпин вымарал, — не помню^[15]. А главное, не помню общей мысли и содержания статейки^[16]. Во всяком случае, она была вызвана женскою фигурой. В то же время я замышлял статьи о некоторых других женских фигурах, исторических и поэтических, чего, впрочем, в исполнение не привел. Статью мою Кремпин нашел «весьма удовлетворительною» и торжественно вручил мне за нее 13 рублей. «По расчету выходит 12 р. 90 к., — сказал он, — но ужтак, для круглого числа». Несмотря, однако, на этот добавочный гривенник и на снисходительное одобрение артиллерийского редактора журнала для взрослых девиц, статейка была, должно быть, очень курьезная. Дело в том, что я тогда женщин не только не знал, а почти что и не встречал. Оторванный волею судеб с 14-ти лет от всякой семейной обстановки, заключенный в четырех стенах закрытого заведения и долго не имея в Петербурге никаких знакомых, я только перед самым своим выходом из корпуса, можно сказать, увидел женщин. Отсюда следует заключить, что в статейку о Софье Николаевне Беловодовой едва ли вложено особенно глубокое понимание, хотя тогда я, разумеется, был совершенно иного мнения об этом своем первенце. А, между тем, немного позже я еще и еще обращался (между прочим, помнится, в «Современном слове» Писаревского^[17]) к разговору о женщинах и даже прямо о женском вопросе.

Этой кажущейся несообразности есть две причины. Одна из них обуславливается обстоятельствами времени. Это — та самая, по которой и артиллерийский офицер Кремпин стал издавать журнал для взрослых девиц. Есть общественные вопросы, очень сложные в

своих подробностях и разветвлениях, но теоретически легко формулируемые, по крайней мере в своих исходных точках. К числу их принадлежит и так называемый женский вопрос. Основные его положения так просты и ясны, что им, собственно говоря, могут быть противопоставлены только лицемерие, предрассудки и насилие. Немудрено поэтому, что женский вопрос получил у нас чрезвычайную популярность в конце пятидесятых и в начале шестидесятых годов, когда результаты Крымской войны вызвали в общественном сознании шумную волну борьбы с лицемерием, предрассудками и насилием вообще. Он не был, конечно, ни самым значительным, ни самым острым из множества возникших тогда общественных вопросов, но он был самым общедоступным. В сущности, он вовсе не так прост, как кажется или как казалось тогда, но его первые элементы поражают известным образом настроенные молодые умы и молодые или помолодевшие общества своею простотой и ясностью. Женщина хочет и может учиться, работать, участвовать в жизни общества, свободно выбирать себе семейную и всякую другую житейскую обстановку, – словом, женщина хочет и может быть человеком. Чтобы понять это и проникнуться этим, не требуется ни специальных знаний, ни житейской опытности, ни вообще какой-нибудь подготовленности. Достаточно логической способности и добрых чувств, которые могут быть и у артиллерийского офицера, и у полувзрослого горного кадета. В приподнятом тоне всей тогдашней общественной атмосферы женскому вопросу естественно было стать пробным камнем для приложения молодых сил, тем более что он был тогда новинкой. Для теперешнего хорошо настроенного юноши это – пройденная ступень, из-за которой он не станет огорчаться: несмотря ни на что, жизнь все-таки многое отвоевала. Но тогда именно на этой почве были всего удобнее первые стычки с насилием и своекорыстием, а стало быть, и первые проблески идеалов справедливости и свободы.

18-19-летнего юношу могло толкать в эту сторону еще одно обстоятельство. Гр. Л. Толстой с беспощадною и, может быть, даже чрезмерною откровенностью рассказал в «Крейцеровой сонате» про те мерзостные формы, под которыми в большинстве случаев молодые люди практически узнают так называемую любовь. Горькая правда, но правда все, что сказал об этом гр. Толстой с фактической стороны: грубо, грязно, омерзительно. Однако это, во-первых, не полная правда, а во-вторых, из нее следуют совсем не те выводы, которые делает гр. Толстой. Впрочем, о выводах гр. Толстого как-то даже странно говорить. Только упорное холопство перед именами может искать и находить здесь какую-то глубину и высшую правду. Как бы то ни было, но и после «Крейцеровой сонаты» любовь остается все-таки законом природы, писанным для дураков и умников, для холопов и бар, и вопрос не в том, чтобы обойти его, а чтобы физиологические корни любви и ее психологические цветы не были оторваны друг от друга. Благодаря безобразному строю нашей жизни вообще, благодаря в особенности условиям воспитания нашего юношества эта физиология и эта психология живут сплошь и рядом врознь. Самый обыкновенный случай тот, что девушка носится в эфирных волнах сентиментального идеализма, иногда подлинного, а иногда лицемерного, а ее будущий муж купается в это время в грязи. Но в большинстве случаев в то же самое время и в его душе цветут цветы, и только дальнейшее течение жизни окончательно определяет характер его отношений к женщине. В тот критический момент развития, когда физиологическая основа любви заявляет о себе с непреодолимою настойчивостью, смутным, но отнюдь не грязным тяготением к женщине проникается и душа юноши. Эта цельность настроения, охватывающая всего человека зараз, под влиянием среды иногда очень быстро нарушается, иногда навсегда, иногда временно, но она все-таки есть, по крайней мере в виде задатков. В это время пишутся проникнутые голубоглазым идеализмом стихи «к ней», где воспеваются разные «ее» блестящие качества, хотя никакой «ее» на деле нет, или же блестящие атрибуты торопливо нацепляются на первую попавшуюся женскую фигуру, к которой они, может быть, идут, как к корове седло. «Ее» нет, но есть смутное представление о чем-то

сложно и жизненно прекрасном, чему хочется так или иначе послужить, помочь, защитить. Я не рожден поэтом и писал не стихи «к ней», существующей или несуществующей, а статьи о женщинах, которых совсем не знал.

Итак, первый шаг сделан: первая статья напечатана. Тридцать лет тому назад это было. Тридцать лет! Ах, как это ужасно много и как трудно седой голове, выдавшей всякие виды, переживать золотые дни молодости! Помню, что весна была, солнце светило и грело, помню грязь и колеблющиеся деревянные тротуары тогдашней Петербургской стороны. Но не могу восстановить в своей памяти то настроение, в котором находился в этот торжественный момент. Сотни печатных листов, написанных мною в тридцать лет, завалили его своею тяжелою грудой. Тринадцать рублей первого гонорара – зловещая «чертова дюжина» как бы предрекала, что не всё розы будут на моем литературном пути, но настроение все-таки, должно быть, было под стать весне – ликующее и вместе с тем несколько стыдливое. Всякая первая в своем роде удача в жизни сопровождается стыдливым чувством, если, разумеется, человек вообще к нему способен. Я немало видал и таких людей, которые непосредственно после первой удачи чуть не на аршин вырастают, так что им даже очень трудно нагнуться, чтобы подать два пальца неудачливому простому смертному. По-видимому, я был не таков, потому что поконфузился подписать под статейкой фамилию или даже инициалы и о торжестве своем сообщил лишь очень немногим товарищам, а из немногочисленных внекорпусных знакомых решительно никому.

Станным образом я в это время не думал сделаться литератором по профессии. Меня манило другое. К сочинительству я чувствовал склонность с раннего детства. И в гимназии, и потом в горном институте я отличался «сочинениями» на заданные или самостоятельно выбранные темы, каковы сочинения писал не только для себя, а и для других. Из этого выходили иногда забавные недоразумения, но расположением учителей русского языка я всегда и неизменно пользовался, несмотря на свое легкомысленное поведение. Помянем кстати добрым словом, кажется, исчезающий, если не исчезнувший тип учителя русского языка, который, благоговей перед литературой и иногда робко тая в самом себе мечты о литературной деятельности, с особенным вниманием относился к зачаточным проблескам литературного дарования в своих учениках. Тем не менее в то время, когда моя статейка о Софье Николаевне Беловодовой увидела свет, я не о литературной профессии мечтал, а об адвокатской. Горный институт или горный корпус (официально он назывался институт корпуса горных инженеров) был тогда закрытым заведением, в которое, однако, проникали разные веяния из взбодраженного уже совершившимися и предстоящими реформами общества. Я был особенно заинтересован судебною реформой, о которой, впрочем, должен признаться, имел довольно смутное понятие. Это не мешало мне мысленно говорить блестящие речи в качестве «защитника вдов и сирот». Читатель, вспомните свою молодость и не будьте слишком строги к легкомысленным мечтам 18-19-летнего мальчика. Почему я воображал себя оратором, я не знаю. Может быть, тут были виноваты маленькие разговорные успехи в кругу товарищей, а может быть, некоторая способность и в самом деле была, да атрофировалась от неупотребления. Кавелин где-то говорит о «дурной привычке думать с пером в руках». Эта дурная привычка, кажется, неизбежна для призванного или обреченного литератора. Когда такой обреченный литератор чувствует позыв писать, это еще не значит, что у него готов план работы. Бывает и так, но, может быть, в большинстве случаев бывает совсем иначе. Просто какое-нибудь впечатление или какая-нибудь только мелькнувшая мысль всколыхивает кладовую бессознательного, где неведомо для самого писателя покоятся результаты предыдущего опыта, наблюдения, чтения, всей прошлой жизни. Уже в процессе работы эти продукты бессознательной душевной деятельности выступают на порог сознания и комбинируются в цепи логических умозаключений или в определенные образы и картины. Да и в тех случаях, когда общий план выработан заранее, в процессе письменной работы является множе-

ство непредвиденных подробностей и поправок. С течением времени процесс работы так прочно ассоциируется с процессом самой мысли, что действительно становится трудным думать без пера в руках. Этим объясняется застенчивость многих талантливых писателей в обществе, их ненаходчивость в разговоре, отсутствие в них, за редкими исключениями, ораторской способности. Когда, как можно ожидать, фонограф вытеснит письменный стол и письменные принадлежности, литературный персонал будет, наверное, очень отличаться от нынешнего.

Как бы то ни было, я мечтал об адвокатуре и всего меньше прельщался предстоявшею мне карьерой горного инженера. А тут произошли еще школьные беспорядки, в результате которых мне было так настоятельно любезно предложено подать прошение об увольнении из корпуса, что я не мог отказаться^{18}. Я уехал в провинцию к родным^{19} все с тою же тайною мечтой об адвокатуре и с намерением поступить на юридический факультет Петербургского университета, тогда вследствие студенческих беспорядков закрытого^{20}. Когда я вернулся в Петербург, открыт был только первый курс. Не держа экзамена и не записываясь вольным слушателем, я попробовал было ходить на лекции контрабандой (тогда это было возможно), но скоро перестал, решив, что проживу и без диплома, да и мечту об адвокатуре бросил.

Литературные враги не раз попрекали меня тем, что я нигде не кончил курса (попрекали, как это всегда бывает, больше такие господа, которые сами разве только гимназию кончили и затем, почив на лаврах, самостоятельно уже ничему не учились). Люди же благорасположенные как бы конфузились за меня. Однажды некоторый библиограф пришел ко мне за биографическими сведениями для какого-то словаря. Сообщая, между прочим, что учился в костромской гимназии, из четвертого класса которой перешел в горный институт, где, однако, курса не кончил, и более ни в каком учебном заведении не был. «Ну, этого я не напишу, — сказал любезный библиограф. — Отчего? — Ну, все-таки, знаете...» Но ведь из песни слова не выкинешь, а это биографический факт. Факт, для меня, разумеется, не совсем удобный, но постыдного в нем, я думаю, ничего нет; тем более что, ведь, и Белинского дразнили «недоучкой», и Некрасов нигде не окончил курса, и я знаю много балбесов, правильно окончивших надлежащие курсы и снабженных соответственными дипломами. Надо заметить, что в мое время горный корпус состоял из пяти приготовительных и трех специальных классов. Я вышел из корпуса, сдав экзамен в 3-й специальный, то есть последний класс. Поэтому в выданном мне аттестате значатся успехи в таких науках, каких господа, дразнящие меня неокончанием курса, может быть, даже и не слыхивали. Разумеется, я все эти специальные знания давно растерял, но это произошло бы и в том случае, если бы я благополучно дотянул школу до конца, как это бывает со всеми, кто покидает специальность, к которой он готовился. А то, что и в этих случаях может дать систематическое школьное учение, — известную умственную дисциплину, — я получил. Несколько месяцев, которые мне оставалось дотянуть для получения диплома на чин горного инженер-поручика, в этом отношении много не прибавили бы.

Мечтая о карьере адвоката, я с жаром, хотя без всякого порядка, читал разные юридические сочинения. В том числе был учебник уголовного права г. Спасовича^{21}. В этом сочинении есть краткий обзор различных философских систем в их отношении к криминалистике. Я в особенности поразился знаменитой триадой Гегеля, в силу которой наказание так грациозно становится примирением противоречия между правом и преступлением. Известна соблазнительность трехчленной формулы Гегеля в ее разнообразнейших приложениях (в свое время я расскажу, как соблазнялся ею, уже будучи известным ученым, покойный Н. И. Зибер)^{22}. Неудивительно, что я был пленен ею в учебнике г. Спасовича. Неудивительно, что затем потянуло и к Гегелю, и ко многому другому. Языки, немецкий и французский, я, к счастью, недурно знал с детства. Открылось, можно сказать, необозримое поле

для чтения, тем более необозримое, что я глотал материал для чтения без всякого руководства со стороны. Уголовное право и вообще юриспруденция постепенно стушевывались, бледнели. А когда в случайном споре о том же Гегеле мне был указан Прудон как своеобразный применитель гегелианской диалектики и я прочитал его «Contradictions économiques»³, – юриспруденция и совсем распрощалась со мной. Дальний отголосок интереса к криминалистике сказался лишь в статье по поводу сборника Любавского „Русские уголовные процессы“, напечатанной в 1869 году в „Отечественных записках“ и перепечатанной в „Сочинениях“ под заглавием „Преступление и наказание“»^{23}.

Раз подвернулось под перо упоминание об этой едва ли не первой моей значительного размера статье, мне хочется сказать следующее. Я был так счастлив, что крутых переломов в моем мирозерцании с тех пор, как я выступил на литературное поприще, не было. Подобные переломы, для искренних натур тяжелые вообще, для писателя отягчаются еще мучительным сознанием, что, дескать, не только сам заблуждался, а еще публично проповедовал заблуждение, распространял его. Я не испытывал этих мучений. Кроме каких-нибудь мелочей, которые мне сейчас даже в голову не приходят, мне не от чего отречься в своей литературной деятельности. Из этого не следует, однако, чтобы я явился в литературу совсем готовый, «подобно Минерве из головы Юпитера», как иронизировал когда-то на мой счет г. Чуйко^{24}, или, что то же, был вполне «неподвижен», как двусмысленно любезничал недавно г. Волынский^{25}. Разумеется, я не сразу подошел к правде, какою она мне в настоящую минуту представляется, но я не уклонялся с дороги к ней. В частности, мне не от чего отпираться и в упомянутой статье «Преступление и наказание». Но, конечно, многое я сказал бы теперь не так, как тогда, и не только в смысле стиля, из которого уже давно выдохся юношеский эмфаз.

Между прочим, в упомянутой статье говорится: «Вид наказания иногда не только не производит желаемого устрашающего и опозоривающего действия, но, напротив, как будто наталкивает на подражание палачу, вызывает непреодолимую жажду крови. *Уровень наших психологических познаний не захватывает этих явлений*, хотя там и сям можно встретить намеки на попытки их объяснения... (следуют указания на Адама Смита, Кетле^{26}, Миттермайера^{27}). А между тем, явления этого порядка аналогичны, *может быть*, даже с таким обыденным фактом, как зевота при виде зевающих. Есть много фактов, *ничего не дающих для положительного вывода*, но очень ясно намекающих на возможность широкого отрицательного обобщения» и т. д. Много лет спустя из этой робко высказанной мысли выросла статья «Герои и толпа»^{28}. Другой пример, в известном смысле противоположный. В той же статье о преступлении и наказании развивается старое положение: «Понять – значит простить» – и доказывается, что мерило духовной высоты человека есть степень его способности прощать, то есть понимать. Мысль эта высказывается категорически, решительно, – столь решительно, что теперь у меня не хватило бы уже этой юной решительности. Понять – значит простить, да; но горький житейский опыт и многолетние житейские наблюдения приводят к заключению, что есть мерзости, которых именно нравственно развитая личность не может понять, не может, значит, и простить.

Это, впрочем, пока мимоходом.

Время от времени, но очень изредка, я пописывал статейки, которых уже не помню, – между прочим, в одной еженедельной газете (если не ошибаюсь, она называлась «Якорь»^{29}), редактором которой был Шульгин, впоследствии ответственный редактор бла-

³ «Экономические противоречия» (франц.).

госветловского «Дела». Упоминаю об этом потому, что на основании знакомства с Шульгиным я было пробовал потом работать в «Деле», но неудачно, о чем расскажу. Так шло дело примерно до 1865 года, когда я через одного своего бывшего товарища познакомился с интересными людьми и окончательно и сознательно вступил на литературное поприще.

Один из этих новых знакомых был Николай Степанович Курочкин, брат известного переводчика Беранже и редактора «Искры». В этой семье таланты распределялись точно по лестнице. Старший брат, Владимир, не обладал, кажется, никакими дарованиями, служил в военной службе, содержал потом книжный магазин, потом литографию и, кажется, согрешил однажды переводным водевилем. Младший, Василий, редактор «Искры» и переводчик Беранже, был, напротив, чрезвычайно талантлив, гораздо даже талантливее, чем можно судить по его литературному наследству. Середину между ними занимал средний и по возрасту брат, мой новый знакомый, Николай Степанович. Врач по образованию и, так сказать, официальной профессии, он давно бросил медицину, охотно смеялся над нею, сам лечил себя то редечным соком, то крупинками Маттеи, то еще бог знает чем. Поэт, если не по призванию, то по смертной охоте, он писал, однако, довольно плохие стихи. Но вместе с тем это был умный, в особенности остроумный, разносторонне начитанный человек, необыкновенно преданный литературе и ее интересам. В свое время он мечтал, вероятно, о большой роли в литературе, и маленькая горечь несбывшихся упований сквозила иногда в его разговоре. Но он был слишком добродушен и слишком лентяй и циник, чтобы содержать себя в постоянном огорчении. Лысый и толстый, он напоминал Силена, только с чрезвычайно правильными и красивыми чертами лица. Много ел, много пил, много спал; мог целыми днями сидеть немытый, в распахнутом на жирной груди халате, как-то особенно поджав под себя ноги, на манер Будды; при этом он крутил одну за другой толстые папиросы и неустанно говорил, забавно картавя и мешая серьезные речи с разным более или менее остроумным вздором. Только разговаривать он и не ленился. Впрочем, лень овладевала им постепенно, и в то время, когда я с ним познакомился, он был сравнительно очень бодр и деятелен. Старший Курочкин, Владимир, купил тогда книжный магазин Сенковского^[30], а вместе с ним журнальчик «Книжный вестник»^[31], издававшийся тем же Сенковским, и предложил Николаю Степановичу редактировать его. Николай Степанович набирал сотрудников; в качестве такового меня и познакомил с ним мой бывший товарищ, знавший мои литературные склонности. Особенных хлопот по набору сотрудников, впрочем, не было. «Книжный вестник» был ничтожный журнальчик, выходивший два раза в месяц маленькими тетрадями в лист или два печатных. При Сенковском он состоял из перечня вышедших за две недели новых книг, из которых о некоторых давались коротенькие, в несколько строк отзывы. Но Курочкин мечтал о расширении журнала и о превращении его в серьезный специально критический орган. Однако все это было еще впереди, в более или менее отдаленном будущем, потому что средства издателя были очень скромны. К нескольким библиографическим заметкам, принесенным мною для пробы, Курочкин отнесся чрезвычайно благосклонно и горячо убеждал меня работать, работать и работать для литературы. Я не особенно нуждался в этих увещаниях, но все-таки всегда с благодарностью вспоминаю Курочкина за оказанный им мне прием и за все его дальнейшее отношение ко мне. Почитаю его своим литературным крестным отцом. Он же меня впоследствии и в «Отечественные записки» ввел, и хотя я очень быстро занял в этом журнале положение, гораздо более влиятельное, чем то, каким пользовался он, старый литературный неудачник, но в его отношениях к моим сравнительно быстрым успехам никогда не было и тени завистливого недоброжелательства. Несмотря на свою слабость ко всякого рода материальным благам, для достижения которых он, впрочем, не ударил бы лишний раз палец о палец, он действительно и неподкупно любил литературу.

На первый раз штат сотрудников «Книжного вестника», кроме самого Курочкина и меня, составил из Стойковича^{32}, старика библиотекаря в публичной библиотеке, оставшегося нам в наследство от Сенковского, затем Зайцева, известного критика «Русского слова», и некоего Николая Дмитриевича Ножина^{33}. Это был совсем молодой еще человек брызжущего ума, сверкающей фантазии, огромных способностей к труду и обширных знаний (по биологии). Я его изобразил впоследствии под именем Бухарцева в своих полубеллетристических очерках «Впережку»^{34}. Это изображение очень точно, за исключением, конечно, отношений Бухарцева – Ножина к сочиненной фабуле очерков. Курочкин, знавший Ножина раньше, благоговел перед ним. Желающие познакомиться с Ножиным благоволят обратиться к упомянутому очеркам.

Стали мы работать в «Книжном вестнике» с чрезвычайным усердием, по крайней мере мы с Ножиным, Зайцев был слишком занят в «Русском слове», Курочкин все-таки полевивался, а Стойкович не в счет шел. Познакомился еще я в это время с другим сотрудником «Русского слова», Соколовым, автором «Отщепенцев», который несколько презрительно относился к нашей возне с «Книжным вестником». Все шло как следует, но в самом конце марта 1866 года Ножин опасно заболел, говорят, тифом. Заболел он на квартире у Курочкина, откуда его пришлось отправить в больницу, и там его быстро скрутило: 3 апреля он умер. На другой день, 4 апреля, всю Россию всполошил каракозовский выстрел. 6 апреля мы хоронили Ножина, даже в уме не имея, чтобы он мог состоять в каком-нибудь отношении к злосчастному выстрелу. Я и до сих пор не знаю, какое это было отношение и даже было ли какое-нибудь. В одном из первых официальных сообщений следственной комиссии имя Ножина поминалось, но всего один раз; никого из прикосновенных к делу я никогда у Ножина не видал, даже фамилий их от него хотя бы случайно не слышал, равно как не слышал от него никаких разговоров, которые намекали бы на какое-нибудь его участие в подобном деле.

Трудно описать впечатление, произведенное этим первым покушением на жизнь императора Александра II, да это и не входит в мой план. Скажу только, что в это трудное время далеко не все органы печати вели себя удовлетворительно. Казалось бы, назначение такого человека, как граф Муравьев, председателем следственной комиссии и предоставление ему чрезвычайных полномочий достаточно гарантировали энергию следствия и кары виновных. Но некоторые органы печати сами взяли на себя роль следователей и производили вящую смуту в обществе, разыскивая виновных направо и налево и даже там, где их, очевидно, быть не могло. Я написал по этому поводу статью «4 апреля и русская журналистика» и понес ее Курочкину. Я застал его в страшном волнении. Когда я сообщил ему название моей статьи, он только руками замахал; но, выслушав статью, нашел, что ее не только можно, но и должно напечатать или, принимая в соображение тревожность минуты, пожалуй, наоборот, не только должно, а и можно. Статья эта, впрочем, так и не увидела света. Через несколько дней Курочкин был арестован, Зайцев также. Я был лишь призываем к допросу; спрашивали о Ножине, я сказал все, что знал, но оказалось, что интересного для следствия я ничего не знал.

Только через четыре месяца выяснились недоразумения, вследствие которых были арестованы Курочкин и Зайцев, и они получили свободу. Все это время наш бедный «Книжный вестник» оставался на моем попечении. Как ни ничтожен был наш журнальчик, но мы возлагали на него большие надежды в будущем, и, оставшись у кормила этой малой ладьи, я выбивался изо всех своих юных сил, чтобы поднять журнал. Положение было тем более трудное, что я не мог относиться так снисходительно, как Курочкин, к водянистым и пустословным рецензиям единственного оставшегося мне в наследство сотрудника, Стойковича. Я обратился за помощью к В. А. Манассеину, тогда еще студенту медико-хирургической академии, но уже известному своими работами в «Архиве судебной медицины и обществен-

ной гигиены», и к своему бывшему товарищу по горному корпусу Н. Г. Дебольскому, ныне известному педагогу. Специально литературных знакомств я не имел. Когда через четыре месяца Курочкин вышел на свободу, он очень одобрительно отнесся к моему ведению журнала, но тут же передал мне претензию издателя, который находил, что обилием и пространностью рецензий я уже слишком вышел из предположенных границ издания. Он был с своей точки зрения прав, но и я с своей стороны мог претендовать на издателя. Работая изо всех сил, я был очень доволен и самою работой, и ее полною самостоятельностью, тою руководящею ролью, которая выпала на мою долю хотя бы и в маленьком деле. Как бы, однако, даже ни преувеличенно высоко ценил я это свое положение, а пить-есть, одеваться-обуваться все-таки надо было. Издатель, конечно, понимал это, но не особенно горячо принимал к сердцу, а впрочем, и его собственные дела шли из рук вон плохо. Я жил тогда в меблированной комнате, в мансарде дома Китнера, у Вознесенского моста, в настоящей типичной мансарде, каких в Петербурге немного. Платил за комнату, помнится, рублей двенадцать и тут же обедал за девять рублей в месяц. По этим цифрам можно судить и об остальном бюджете. Как нищий испанский гидальго, гордо драпирующийся в дырявый плащ, я, полный своего редакторского достоинства, каждый день шагал в продранных сапогах на Невский проспект, в книжный магазин издателя и сплошь и рядом на просьбу о заработанных деньгах получал предложение посидеть в магазине, – не навернется ли, дескать, покупатель: все, что при вас наторгуем, ваше будет. Увы! покупатели приходили редко и покупали мало...

Тем не менее, когда через несколько времени, вследствие плохих дел, закрылся книжный магазин Владимира Курочкина и прекратился «Книжный вестник», я был, разумеется, глубоко огорчен. Я уже настолько вошел во вкус литературной работы, что жить без нее не мог, а работать негде было. «Современник» и «Русское слово» не существовали. Курочкин попробовал издать колоссальный альманах «Невский сборник»^[35], куда попала и моя статья, но дальше одного выпуска это предприятие не пошло. Появились объявления об издании нового журнала «Дело» под редакцией Шульгина, и я, памятуя свое знакомство с Шульгиным по «Якорю» (?), отправился к нему, захватив с собой «Книжный вестник» как образчик моей работы. Шульгин разъяснил мне, что он лишь ответственный редактор, а ведется «Дело» Благодетелем, которому он и передаст мои статьи. Познакомившись с ними, Благодетель встретил меня чрезвычайно любезно, но мы очень скоро разошлись, даже не разошлись, а расскочились. Я слишком мало знал Благодетеля, чтобы составить о нем достаточно полное и определенное мнение. Кратковременные наши отношения выяснили мне только одну сторону его характера – какую-то необыкновенную грубость, аляповатость всего, что он говорил и делал. Аляповатые были его любезности, аляповат был если не образ мыслей его, то по крайней мере способ их выражения, но всего, конечно, аляповатее были его ядовитости, с которыми мне пришлось очень скоро познакомиться. Мы уговорились, что я буду писать в «Деле» литературное обозрение и возьму на себя всю библиографию. В одно из моих посещений Благодетеля я застал у него молодого человека с огромным лбом, живыми глазами, быстрыми речами, быстрыми движениями. Это был Д. И. Писарев, которого я видел тут в первый и в последний раз. Входя в кабинет, я еще слышал конец какого-то запальчивого разговора. «Ты погоди, что ты ультиматумы-то ставишь?» – говорил Благодетель. «Ты знаешь, что я всегда так», – резко отвечал Писарев. Разговор был прерван моим появлением. Когда Благодетель назвал меня Писареву, тот, пожимая мне руку, быстро спросил: «Переводчик Шекспира?» Он принял меня за моего почти однофамильца, Д. Л. Михайловского, известного поэта. Я говорю «нет». «Так кто же вы?» – «Никто»^[36]. – «Как Одиссей?» Вмешался Благодетель и стал говорить в похвалу мне столь аляповатые слова, что я затрудняюсь их приводить. Может быть, сверх своей аляповатости во всем Благодетель имел в данном случае еще специальную цель. Как я узнал впоследствии, между Благодетелем и Писаревым происходили в это время очень острые

недоразумения, к составу которых относился, вероятно, и «ультиматум» Писарева. Писарев уходил из «Дела» и действительно скоро ушел, о чем имеется обстоятельный рассказ в воспоминаниях Н. В. Шелгунова^{37}. Весьма возможно, что, не в меру восхваляя меня, начинающего, совершенно неизвестного писателя, и пророча мне в присутствии Писарева блестящую будущность, Благосветлов имел в виду повлиять на Писарева в нужную ему, Благосветлову, сторону или по крайней мере сорвать зло: дескать, и без тебя найдутся талантливые сотрудники. Сколько я понимаю Благосветлова, это на него похоже. Если, однако, у него и было подобное, хотя и бессознательное побуждение, то на Писарева его слова, во всяком случае, не произвели предположенного впечатления. Он, видимо, был очень занят каким-то своим делом и, с любопытством посмотрев на меня, без особенной горячности, но очень добродушно пожелал мне успеха; затем, заявив Благосветлову, что будет ждать его ответа в такой-то срок, ушел. Больше я с ним не встречался. В начале 1868 года он поместил несколько статей в возрожденных «Отечественных записках», но меня тогда еще там не было^{38}, а в июле 1868 года Писарева не стало.

Не помню наверное, была ли напечатана хоть одна моя статья в «Деле»^{39}; во всяком случае, если и была, то именно только одна, и без подписи. Не помню также, в чем состояло недоразумение, по поводу которого я написал Благосветлову письмо и получил от него ответ якобы ядовитый, а в сущности, грубости необычайной. Мне оставалось только кратко уведомить его, что не нахожу возможным продолжать работу в его журнале. Позже мы у кого-то встретились, и он начал разговор на ту тему, что «вы человек горячий, я человек горячий» и т. д. Помнится, что и свидание это было не совсем случайно, что нас сводили по его желанию на нейтральной почве, но, во всяком случае, соглашения не произошло. Благосветлов навсегда остался в моей памяти одною из самых несимпатичных фигур в литературе (разумею литературный персонал, мне известный; есть литературные сферы, с которыми я никогда даже не сталкивался). Его всесторонняя аляповатость слишком была в глаза даже такому молодому человеку, каким я был тогда, а его достоинств я за кратковременностью знакомства разглядеть не успел. Надеюсь, что они были, эти достоинства, но, признаюсь, мой личный опыт не дает мне возможности понять, как могли с ним долго ладить некоторые из сотрудников «Русского слова» и «Дела», люди тонкоделикатные и вместе с тем полные чувства собственного достоинства. Дело не в том, что он загребал жар чужими руками и нажил большое состояние трудами даровитых и убежденных сотрудников, доживших или доживающих свой век почти в нищете. Это обыкновенная предпринимательская история, да и Благосветлов все-таки нес много черной работы по ведению журнала. Из воспоминаний Н. В. Шелгунова и из его же биографического очерка, приложенного к сочинениям Благосветлова, видно^{40}, что Благосветлов работал страшно много над чтением и выправкой рукописей, над корректурами, сношениями с цензурным ведомством и т. д. Очевидно, это был человек чрезвычайно энергический, быть может, в нем были и другие привлекательные стороны, но я успел узнать его только с той стороны, которую и повторительно не умею иначе назвать, как аляповатостью.

Я должен предупредить читателя, что помимо отдаленности времени, о котором идет речь, у меня вообще очень плохая память на цифры. Не ручаюсь поэтому за хронологическую точность и последовательность моего рассказа. Помнится, лето 1867 года досталось мне особенно тяжело^{41}. Курочкин жил тогда на даче на Черной речке, а мне уступил мезонин в две комнаты. На том же дворе занимал маленькую дачу Н. А. Демерт^{42}, впоследствии (с 1869 по 1874 год) писавший внутреннее обозрение в «Отечественных записках», а тогда еще только намеревавшийся стать постоянным литературным работником. У Демерта, недавно приехавшего в Петербург, водились деньги, конечно, небольшие; у Курочкина их было гораздо меньше, а у меня совсем не было, и, если бы не Курочкин, мне приходилось бы

частенько голодать в буквальном смысле слова. Но и у всех дела были плохи, так что, когда однажды к нам явился П. А. Гайдебуров с предложением принять участие в газете «Гласный суд»^[43], мы ухватились за это предложение руками и ногами. Но прежде чем рассказать об этом водевильном эпизоде, я припомню кое-что из времяпровождения на Черной речке.

Известна слабость многих русских писателей (теперь это, кажется, уже выводится) к хмельным напиткам. Это, впрочем, слабость русских людей вообще, и недаром Некрасов хотел кончить свою поэму «Кому на Руси жить хорошо» иронически-скорбным ответом «хмелю». Недавно гр. Л. Толстой старался убедить человечество, или по крайней мере Европу, в том, что пьянствуют люди только виноватые, и притом именно затем, чтобы заглушить чувство виноватости и угрызения совести. Я уже в другом месте говорил о странной аргументации гр. Толстого^[44]. Здесь скажу только, что я видел много пьянствующих людей, между которыми действительно были и такие, что пили для заглушения совести, но большинство надо разверстать по разным другим категориям. Позволю себе остановиться на нескольких пьянствующих литераторах, с которыми я познакомился в 1867 году. Говорить о них можно без обиняков, так как все они уже покойники.

Начну с Демерта. Ему было лет тридцать с чем-нибудь, когда мы познакомились. Из его прошлого я знаю только, что он был кандидат Казанского университета, служил мировым посредником, был председателем, кажется, чистопольской земской управы, но давно тяготел к литературе, на которой и осел наконец. Его близкое практическое знакомство с крестьянским и земским делом определило и характер его литературной работы. Его внутренние обозрения (они назывались «Наши общественные дела») в «Отечественных записках» много уступали таким же обозрениям Елисеева, который взял на себя этот отдел в 1875 году; Елисеев был несравненно шире, разностороннее, глубже. Но и демертовские обозрения, отличавшиеся своеобразным, хотя и грубым юмором, имели свою очень большую цену; они пользовались большим успехом и доставили Демерту массу корреспондентов со всех концов России. Но в то время, о котором я теперь говорю, Демерт был еще новичок в литературе, хотя небольшие его статьи уже печатались в «Современнике», «Искре», «СПб. ведомостях». Когда пристрастился Демерт к хмельному делу и были ли этому несчастью какие-нибудь определенные, уловимые причины, я не знаю. Знаю только, что несчастье это все разрасталось и кончилось психическим расстройством. Некоторым причинам и поводам этого разрастания я был, можно сказать, свидетелем. Демерт имел удивительно нежное сердце, жаждавшее привета и ласки и всегда готовое на них откликнуться. Я видел его отношение к некоторым родственникам, знал его горе по поводу быстро следовавших друг за другом смерти брата, самоубийства племянника, смерти матери. Я, наконец, очень близко видел один его неудачный роман. К несчастью, нежное сердце Демерта было облечено в непривлекательную для женщин телесную форму. Носатое, изрытое оспой лицо его, с узенькими глазами, широкими скулами, редкою бороденкой, было очень некрасиво. Оно было под стать его неуклюжей, медвежьей фигуре, его грубому, басистому голосу, его очень уж несветским манерам. На беду судьба послала ему в соседки по меблированным комнатам молодую девушку, которая сумела разглядеть под эту грубую внешность нежную душу, тяготившуюся одиночеством, искавшую ласки. Говорю – «на беду», потому что из этого в самом деле беда вышла. По молодому ли легкомыслию или по каким-нибудь определенным, никакому оправданию не подлежащим побуждениям, девушка играла с Демертом, как кошка с мышкой. Да, этот большой, сильный, широкоплечий человек с громовым басом исполнял роль мышки. Так, например, измученный игрой, Демерт переехал в другие меблированные комнаты, попросту бежал, чтобы не терзаться ежедневными встречами, но через несколько дней героиня его романа переехала вслед за ним и опять стала его соседкой, все такой же, то подающей надежды, то отталкивающей. Во времена надежд Демерт не пил, как-то весь подбирался, даже надевал перчатки и гофрированные рубашки, что было очень забавно, а во

времена окончательного разочарования и соответственной муки пил мрачно, дико, страшно. В такие времена он любил петь под аккомпанемент гармоники горькие сиротские волжские песни (он был казанский или нижегородский уроженец), разрешавшиеся иногда слезами, а иногда страшною руганью по неизвестному, неопределенному адресу, или же пропадал целыми днями в разных трущобах. Этот неудачный роман Демерта относится к 1871 или 1872 году, но у него подобных романов было, вероятно, несколько в жизни; не буквально таких, конечно, но и в то время, когда мы с ним познакомились, на нем лежала печать сиротливого одиночества и душевной бесприютности. Домовитый, даже до скупости (когда не загуливал), он и кроме нежного сердца имел все задатки и великую охоту стать настоящим семьянином. Слепая судьба решила иначе, и в этом-то разладе между действительностью и внутренними позывами, конечно, и лежала причина пристрастия Демерта к хмельному напитку. Нехорошее это дело, бесспорно, но осудить покойника я не могу, виноватости его не вижу: не для заглушения совести он пил, а для забвения обиды и горя.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.